
ЧАСТЬ I

АНАСТАСИЯ



1. ГОН

— Ату ее! Ату-у-у!

Хохот, крики, завывания, от которых кожа коней вскипала пóтом, собаки заходились в неистовом лае, а запоздалые прохожие, услышавшие отзвуки дикой охоты, влипали в заборы и крестились иступленно, моля Господа сделать их невидимыми для своры, несущейся мимо в погоне за добычей.

«Уйдет! Неужели уйдет?!»

Но вот светлый, словно бы призрачный очерк стройного девичьего тела вновь появился впереди, и из горла Ивана вновь рвался торжествующий, почти звериный крик:

— Ату ее!

Издали донесся визг отставшего меньшого брата Юрки, но Иван будто бы не слышал его по-детски обиженного зова.

Когда улица расширилась, соловый конь справа и рыжий слева равнялись с ним, и Иван, покосившись, мог увидеть обезумевшие от угара погони лица Федора Овчины-Телепнева и Ваньки Воронцова. Наверное, его собственное лицо было таким же. Они видели сейчас только одно: мельканье этих оголенных девичьих ног — чтоб рубаха не мешала, беглянка подняла ее вы-

соко, выше некуда; они хотели только одного: настичь, догнать, схватить!..

И вдруг она пропала. Только что маячила впереди, но свернула за угол — и нет ее! Иван в горячах дал шпоры, рванул вперед с пушей прытью, но краем глаза что-то заметил под забором — и осадил разгоряченного коня.

— Вон она, вон! Гляди, лежит! — взвизгнул ошалелый от погони Ванька Воронцов, слетая с седла и бросаясь под забор. — Не уйдешь! Глянь, князюшка! Нагнали!

Девка лежала навзничь, вцепившись в завернувшийся подол своей рубахи, словно хотела одернуть его, да раздумала. Иван скользнул взглядом по разбросанным ногам, нахмурился...

— И мне! И мне! — послышался сзади крик Юрки, затопали рядом копыта, и брат, вырвавшись из рук своего дяди и тезки князя Глинского, потянулся к неподвижному телу.

— Охолопись! — Иван отпихнул брата локтем, да так угодил в живот, что мальчишка согнулся от боли и заныл:

— Ванька, дурка! Дай мне девку! Девку хочу!

— Угомонись, милочек! — ласково зажурчал Юрий Васильевич, и Иван понял по голосу, что дядя с трудом сдерживает смех. — Будет тебе девка! Вот подрастешь малость, глядишь, и оженим.

Наконец-то Иван решился посмотреть в лицо девушки — и невольно отпрянул, встретившись своим взглядом с ее — застывшим. Глаза ее почему-то были серебряными, блестящими, наполненными лунным светом, и Ивану это показалось таким страшным, что он отшатнулся и невольно вскинул персты ко лбу, осеняя себя крестным знаменем.

Глинский исподтишка наблюдал за старшим племянником. Загадочный парнишка произрастает! Что-то не примечал он прежде в Ивашечке особенной жалости к роду человеческому. Не далее как после Рождества, воротясь с Волока Ламского, куда ездил на охоту с ближними сановниками и дядьями, отрок вдруг объявил себя великим князем и пожелал сам править! Не только Шуйские, державшие в ту пору власть, но и братья Глинские, и Воронцовы Федор с сыном Ванькою, любимцы Ивановы, недавно лишь возвращенные из костромской ссылки, куда их, несмотря на мольбы Ивана, упекли по приказу Андрея Шуйского, почувствовали себя так, будто на их глазах гром грянул среди ясного зимнего неба.

А ведь тринадцать лет, великому князю только тринадцать сравнялось в августе! И не понять, чего было в его решении больше: взрослой ярости на злых честолюбцев-бояр, которые прибрали в державе власть к рукам, отправив в ссылку боярина Тучкова и обезглавив дьяка Мишурина (а ведь оба они были душеприказчиками великого князя Василия Ивановича, и справа с ними равнялась государственному перевороту!), — или детской обиды на жестокость Шуйских, разлучивших Ивана со всеми близкими людьми, даже с мамкой его, Аграфеной Челядниной, сосланной в Каргополь и насильственно постриженной в монахини, на хамство их, чуть ли не с ногами на постель к великому князю садившихся, ни во что его не ставивших, воспитывающих Ивана с братом будто самую убогую чадь.

Глинский только головой покачал, вспомнив, как племянник отдал наиглавнейшего вельможу, воеводу, всесильного боярского первосоветника, псарям, как метался по двору Андрей Михайлович Шуйский, осаждаемый здоровенными кобелями, а псари, было смрадное, с наслаждением орали:

— Ату его! Куси! Рви! — как реготали, видя, что заливается боярин кровью и наконец падает недвижим, не в силах оттолкнуть косматого зверюгу, вцепившегося ему в горло...

Забавник Иванушка! Любя охоту, скакал с толпой сверстников, боярских сынков, по улицам, давил детишек, баб и старух, веселился их крикам. Вот и за этой белоногой девкой погнался сам не зная зачем, гонимый припадком шалой юношеской похоти. Обыкновенная ветреность отрока, развлекаемого минутными утехами! Несмотря на годы свои, немало перебрал он баб и дев, и это раннее сластолюбие лишь подогревалось боярами, теми же Шуйскими.

Иван вытянул палец, коснулся приоткрытых неподвижных губ. Красивая... ох, какая же красивая она, эта мертвая!

— Ох... Что это? Святые угодники! Аринушка!

От внезапного бабьего вопля рука царя дрогнула, натянула косу. Голова девичья чуть повернулась — и серебро вылилось из мертвых глаз. Слезы, слезы это были... Последние в ее жизни слезы.

Полная женщина в черной душегрее, едва наброшенной на летник, простоволосая, растолкала остолбневших от неожиданности парней, с размаху упала на мертвое тело, забилась, исторгая дикие крики вперемежку с рыданиями:

— Матушка Пресвятая Богородица, да что же... да как же? Ой, закатилась звезда поднебесная, угасла свеча воску ярого!

— Полно выть! — Ванька Воронцов преодолел наконец общее оцепенение, схватил женщину за плечи, приподнял. — Сам князь перед тобой, великий князь. В ноги кланяйся, слышь-ка?

— Князь? — Она высвободилась сильным рывком,

обвела парней взглядом, безошибочно уставила на Ивана огромные глаза, окруженные черными тенями. — Это ты, что ли? Да какой же ты князь?! Телепнева выблядок!

Глинский сунулся вперед и хлестнул женщину по лицу. Иван отпихнул дядю, наклонился:

— Прикуси язык! Слышь, баба?! Прикуси язык, не то вырву! Или с головой простишься!

— Вырвешь? — тупо повторила она. — Да ты мне уже сердце вырвал, иль не видишь?

— Нечаянно вышло. — Иван вздохнул с трудом. — Вот... дядя, дай ей полтину, а то рублевик серебряный.

— Себе возьми, — разомкнула пересохшие губы женщина. — Будь ты проклят! Будь вся душа твоя проклята и вся утроба! Чтоб не знать тебе покоя ни на этом свете, ни на том! Кого любить будешь, ту погубишь, а кто тебя не полюбит, та тебя и погубит! Чтоб тебе захлебнуться моими слезами! Чтоб тебе утонуть в слезах и крови! Не видать тебе счастья! Минуты покоя не знать! Как ты мою кровиночку сгубил, так и свою кровиночку погубишь! Пустоцветом отцветешь, и никто...

Она вдруг громко всхлипнула — и умолкла.

Иван оглянулся. Женщина навзничь лежала на снегу рядом с мертвой дочерью, слабо загребая руками снег. Из горла толчками била кровь. Вот дрогнуло тело, высоко поднялась грудь — и она замерла, обратив к луне остановившиеся серебряные глаза...

Ванька Воронцов, сноровисто тыкавший шашкою в сугроб, выпрямился, отер лезвие о полу, поглядел — чисто.

— Слышал я про бабу сию: чаровница знатная, обавница, еретица, хитрая, блудливая да крадливая. Не отчитаешься потом от порчи небось! Я ж для тебя, князь-батюшка. Тебя ради!

Сунулся к ручке, но Иван отпихнул его.

Овчина-меньшой придержал стремя — Иван взмахнул в седло. Так огрел вороного, что тот одним прыжком оказался впереди других. Понесся ошалело.

Ветер наотмашь хлестнул по лицу, выбивая из глаз невольные слезы.

«Закатилась звезда поднебесная, угасла свеча воску ярого!» — выло, стонало в ушах на разные голоса. Почему-то казалось, это плачут по нему. Только вот в чем беда: Иван знал, что некому, некому на всем свете уронить по нему хоть одну слезу.

Выблядок, выблядок... Гнусное слово стучало в висках. Не впервой слышит он его, нет, не впервой. Шуйские потому тянули руки к трону, что и сами вели свой род от Александра Невского, притом от старшей линии, а не как великий князь Василий Иванович — от младшей. Да и вообще — неизвестно, Василия ли родной сын наследует престол! Андрюшка Шуйский, песья пожива, не раз болтал, будто нет в Иване ни капли великокняжеской крови, будто прибудила его матушка Елена Васильевна от своего красавца-конюшего, Ивана Овчины-Телепнева, а вот старицкий и верейский князь Владимир — законный сын Андрея, младшего брата Василия Ивановича, значит, его прав на власть больше!

«Как же так? Почему? Да я не помню себя иначе чем на престоле!»

Выблядок, выблядок... Ни капли великокняжеской крови!

Иван резким взмахом утер лицо и выкрикнул, глядя в темень, изредка рассеиваемую огоньками сторожевых костров у дальних городских застав:

— Коли так, не буду я зваться великим князем! Царем стану! Русским царем!

2. ДВА ВЕНЧАНИЯ

— Боговенчанному царю Ивану Васильевичу, всея Руси самодержцу, — мир и здравие! Сохрани его Господь на многая лета-а!

В храме Успения служили торжественный молебен. Митрополит Макарий возложил на Ивана крест, бармы, венец и громогласно молился за здравие нового государя. Гремели колокола по всей Москве.

Иван не просто восходил на престол — венчался на царство. Не достигнув семнадцати лет, принял титул, о котором всю жизнь мечтали и дед его, и отец, но не решились принять его даже после важных и несомненных успехов своего правления. Конечно, сам титул не придает могущества, однако влияет на воображение людей, и древнее, римское, библейское название — царь — возвышало в глазах народа достоинство государя.

Царев дядюшка с некоторым беспокойством скользил взглядом по распаренным лицам боярским (в храме было нестерпимо жарко, душно от множества свечей и сотен набившихся человеческих тел). Брат Михаил Глинский, матушка Анна Михайловна, молодой князь Владимир Старицкий вместе со своей матерью Ефросиньей, чей горбатый нос делал ее похожей на хищную птицу, Михаила Воротынский, оба Горбатые-Шуйские, отец и сын, Курлятев-Оболенский, друг великого князя Василия Ивановича, некогда сопровождавший его, больного, с охоты в Москву в санях, осмелевших Бельских несколько, Сицкий, Кашин-Оболенский... Захарьины — это уж теперь само собой, теперь от этих рож не отворишься: новая родня государя.

Среди напыщенных, бородатых, краснощеких лиц

боярских мелькнуло молодое, красивое. Андрей Курбский, пронский воевода! И Юрий Васильевич вдруг понял, что нынче в храме на удивление мало молодых. Прежних приятелей Ивана, Трубецкого с Дорогобужским, да Овчины-меньшого с Воронцовым, не видно. Все казнены по Иванову приказу, не простил им царь, что видели его в минуту слабости. Но предлог был приличный — якобы все они, во главе с Воронцовыми, подстрекали новгородцев к мятежу...

Кто-то непочтительно подвинул Глинского с места. Покосился — да это Алешка Адашев, охранник Ивана. Вот те пожалуйста, еще одно молодое лицо.

— Чего стал, князюшка? — процедил Адашев сквозь зубы. — Путь не заступай!

Глинский очнулся — ох, да и впрямь царь уже пошел из собора во дворец, твердо ступая по дорожке, устланной багряным бархатом да алой камкою.

Адашев обогнул Глинского, забежал вперед. Тот лишь покачал головой. Худородный парнишка-то, отец его — человек незначительный, однако же Алешка у Ивана в любимчиках ходит. Быть ему ложничим на грядущей царской свадьбе! Уж если племянник отрядил этого Адашева с именитыми боярами невесту свою смотреть, то широкие пути Алексею нынче откроются — широкие, длинные...

* * *

— Кто там? — Задремавшая над пальцами боярыня Захарына испуганно вскинулась — скрипом резануло по ушам.

— Это я, матушка Юлиания Федоровна! — В двери показалось темноебровое, смуглое девичье лицо. — Я, Маша. Можно к Насте?

Вдова Захарына поджала губы. Сказано же было

челядникам: не пускать эту... Машу! Хотя она любому голову заморочит и глаза отведет.

— Матушка! Кто там? — раздался сверху голос дочери, и Юлиания Федоровна обреченно вздохнула: теперь не отпереться.

— Иди уж, коли пришла, — процедила, отворачиваясь, словно и глядеть-то ей было невмочь на улыбочивое девичье личико.

Ничем ее не проймешь, эту Магдалену, полячку крещеную. С матерью из Ливонии бежали, защиты от притеснений немецких искать, да мать и умерла. Прижилась Магдалена по соседству с Захарьиными, у добрых людей, которые от веку были бездетными и только обрадовались приемышу. Окрестили по православному обряду Марией, назвали дочерью, и постепенно улица привыкла к ней, девушки зазывали Машу в свои светлицы, дружились с ней, секретничали. Матери, конечно, чистоплотно сторонились чужинки, особенно стереглась Юлиания Федоровна, но у Насти на все про все был готов ответ: «Что же, что из Ливонии? Небось наша правительница, Елена Васильевна Глинская, тоже была родом из Ливонии и не родилась православной, а после крестилась, как и все ее семейство!»

— Ты чего такая? — Анастасия с любопытством оглядела подругу. — Щеки вон горят.

— Небось загорись тут! — хохотнула Маша-Магдалена. — Со всех ног бежала.

— Гнались за тобой? Чего бежала-то?

— Царь молодой надумал жениться! Я сама слышала, как на площади кричали: властям, мол, предписано смотреть у бояр дочерей государю в невесты. У кого дома дочери-девки, те бы их, часу не мешкая, везли на смотр. А кто дочь-девку у себя утаит и на смотр не повезет, тому полагается великая опала и казнь!

Внезапно вспомнилось... Настя была еще девочка; отец, Роман Юрьевич, только что умер, в доме после похорон толпился народ, то и дело мелькали фигуры монахов и монахинь. Измучившись от горя, Юлиания Федоровна с дочерью затворились в родительской спальне, пали под иконы, моля Господа не оставить своим призрением сирот. Внезапно дверь распахнулась. Обернулись испуганно — на пороге высокая мужская фигура в рубище.

— Поди, поди, — слабым от слез голосом проговорила вдова, ничуть не удивившись, ибо нищих нынче был полон двор, — поди, убогий, на кухню, там тебя накормят и напойт. И вот еще тебе на помин души новопреставленного раба Божия Романа. Сделай милость, возьми.

Она протянула медяк.

— Спасет Христос тебя, матушка, — густым, тяжелым басом провозгласил нищий. — Спасет и вознаградит за доброту твою. Придет час — дочка-красавица царицею станет!

Юлиания Федоровна устало опустила веки и покивала, соглашаясь. Скорбная улыбка коснулась ее уст:

— Станет, а как же. Спасибо на добром слове, гость. Ты уж поди на кухню-то...

Потом кто-то рассказал матери, что это был не простой нищий, а сам преподобный Геннадий! Сын богатых родителей, он рано почувствовал влечение к иноческой жизни, покинул отчий дом и, облачась в рубище нищего, отправился подвижничать на озеро Суру, в костромские леса. Иногда он ходил в Москву, поражая народ прозорливостью и даром исцеления. Но и узнав об этом, трезвая мыслями вдова Захарьина отмахнулась от пророчества, не стала тешить себя пустыми мечтаниями, пробормотав осуждающе: «А ведь ска-

зано в Писании — не искушай малых сих!» И только Анастасия иногда позволяла себе вспомнить, как вещей холод коснулся ее спины при этих словах: «Придет час — дочка-красавица царицею станет!»

И вот... Неужто он пришел, этот час?!

Анастасия затрясла головой: о чем она только думает! Грешно этак заноситься мыслями.

Магдалена стояла около небольшого столика с точеными ножками, на котором стоял уборный ларец, и пыталась поднять тугую скобку замка.

— От кого заперлась накрепко? Что там у тебя? Грамотки любовные? Васькины небось?

Анастасия вскинула на нее глаза.

Однажды ее двоюродный брат Василий Захарьин оказался настолько дерзок, что передал с Магдаленой малую писульку: ты, дескать, Настенька, краше заморской королевы, я за тебя хоть в огонь готов, а потому не выйдешь ли в сад — единого слова ради! — после того, как все огни в доме погаснут? Конечно, она никуда не пошла: с этим Ваською греха не оберешься!

— Грех, грех... — словно отзываясь на ее мысли, пробормотала Магдалена, открыв наконец ларец и заглянув в него. — Грех вам, москвитянки, такое непотребство с лицами своими творить! Страшно вообразить, какие личины ряженные соберутся на те царские смотрины!

Она с презрением оглядывала сурмильницу, да румяльницу, да белильницу, да коробочки с волосиками для подклейки бровей и балсамами, то есть помадами, стекляницы с ароматными водками.

— Не пойму я вас, русских, — фыркнула Магдалена. — Словно бы другие лица вместо Богом данных малюете. Какие-то красно-белые! Таких и не бывает на-

яву! У нас в Ливонии вот этак-то красятся только непотребные, продажные женки.

— Ну что ты несешь?! — всплеснула руками Анастасия. — Откуда тебе знать, как в Ливонии непотребные женки мажутся? Ты с той Ливонии уже десять лет как отъехала.

— Ну и что ж, у меня память хорошая! — задорно отозвалась Магдалена. — О... о, какие серьги! Двойчатки, да с бубенчиками! Новые?

— Тетенька подарила к Рождеству.

— Больно рано! — ревниво отозвалась Магдалена, торопливо вдевая в уши серьги и красуясь перед зеркалом. — До Рождества-то еще седмица¹!

— Она к старшему сыну отъехать задумала. Сын ее — пронский воевода.

— Курбский? — мигом насторожилась Магдалена. — Так он твоя родня?!

— Ну да, мы с ним троюродные. И его матушка, и моя — Тучковы урожденные. А ты знаешь, что ли, князя Андрея Михайловича?

— Как же, видела. Красавец писанный! Галантен, как настоящий шляхтич, знает обхождение с дамами, по-польски говорит. Даже и по-латыни изъясняется!

— Да, скажи на милость, откуда ж тебе все это ведомо?! — засмеялась Анастасия. — Какая сорока на хвосте принесла?

— Да я сама по ночам сорокой оборачиваюсь и летаю там и сям, — лукаво усмехнулась в ответ Магдалена, так и сяк вертясь, чтобы получше разглядеть себя в серебряном шлифованном зеркале, вделанном в крышку ларца.

— Окстись! — махнула на нее Анастасия. — И при-

¹ Неделя.

держи язык. Потянут тебя на Божий суд как ведьму за такую болтовню — узнаешь тогда... Ой, что это там такое?

Залились вдруг лаем кобели у ворот. Внизу по скрипучим половицам пробежали чьи-то исполошенные шаги, раздался взволнованный голос брата Данилы. Торопливо заговорила с кем-то мать. Дом наполнился вскрикиванием, гомоном, торопливыми окликаками. Громко заплакал малец Никитушка.

— Настька! — раздался снизу голос Данилы — *такого* голоса Анастасия у брата отродясь не слышала. — Настька, отзовись! Чего в темноте сидишь, дура? Неужто спать завалилась?! Не до сна теперь, очи-то проде-ри! Царевы бояре приехали, на смотрины звать! А ну, нарядись поскорее да рожу, рожу намажь, не забудь!

— Царевы бояре, — выдохнула возбужденно Магдалена. — Ох, Матка Боска, Езус Христус... Чего ж ты стала, будто гвоздями прибитая? Одеваться! Косу дай переплету! Где-то я тут видела пронизи жемчужные — как раз хороши будут.

Она заметалась от сундука к уборному столику, но тут в светелку ворвалась Юлиания Федоровна со свечой в руке. На лице плясали тени, и Анастасии вдруг почудилось, что мать кривится, с трудом удерживаясь от рыданий.

— Поздно! — выдохнула Юлиания Федоровна. — Бросьте все. Велено, чтоб шла, в чем есть.

Анастасия поймала взгляд матери и поняла, что они обе думают об одном и том же: о преподобном Геннадии и как он сказал: «Дочка-красавица царицею станет!»

— Мам, я боюсь, — всхлипнула Анастасия еще по-жалыче братца Никитушки. — Я не хочу...

— Не томи! — Юлиания Федоровна схватилась за

сердце. — Деваться некуда, пошли, не то силком вниз сведут. Там сама Анна Глинская притащилась, шука кривоzubая, ты ее стерегись, держись скромно, но очестливо¹.

Анастасия непослушными ногами пошла вслед за матерью к двери, на ходу подбирая волосы, выпавшие из-под головной ленты. Лента была самая простая, хоть и шелковая, бирюзовая. Знала бы — надела бы шитую жемчугом. И рубашка на ней обыкновенная, домашняя, и сарафан синий, абы какой, и душегрея отнюдь не соболья, не парчовая. Одета не как боярышня, а как сенная девка, иного слова не подберешь.

Сзади громко, взволнованно дышала Магдалена, и Анастасии чуточку легче стало при мысли, что подружка с ней.

В нижней комнате зажгли все огни, какие только можно, — светло там было, светлее, чем днем. И душно! Анастасия почувствовала, что на носу со страху и от жары выступили бисеринки пота. Вспомнив, что девице должно дичиться, закрылась рукавом и украдкой отерла носик.

Наконец-то разошлась мгла в глазах, и Анастасия смогла хоть что-то видеть. Вон старший брат Данила Романович — лицо будто наизнанку вывернутое. Рядом два боярина — один пониже ростом, в годах уже преклонных, мягкий весь какой-то, взгляд у него приветливый. Чем-то он напомнил Анастасии покойного отца. Тут же стоял еще один боярин, помоложе, хотя тоже почтенных лет, и он был до такой степени похож на престарелую боярыню, сидевшую в красном углу, что Анастасия вмиг смекнула: это сын и мать. Поскольку Юлиания Федоровна назвала боярыню Анной

¹ Вежливо.

Глинской, это мог быть только царев дядюшка Глинский Юрий Васильевич.

Обочь, как бы сторонясь почтительно, стояли еще двое: красавец молодой, чернокудрый и черноглазый, который сначала так и вперился в лицо Анастасии, но тотчас отвел взгляд и с тех пор смотрел только ей за спину, — и еще высокий монах, закрывший лицо низко надвинутым куколем¹. Гляделся он мрачно, да и остальные бояре, будто сговорясь, явились все одетые в черное. Лишь Глинский поблескивал серебряной парчою польского кафтана, а так — словно бы стая воронья набилась в комнату!

— Ну, здравствуй, красавица, здравствуй, милая доченька, — ласково заговорил пожилой боярин, но его перебила сухощавая, желтолицая Анна Глинская:

— Ну, никакой красоты мы пока еще не видели, так что не спеши товар хвалить, Дмитрий Иванович!

Анастасия сообразила, кто этот Дмитрий Иванович: боярин Курлятев-Оболенский, бывавший у них в доме еще при жизни отца. А еще она поняла, что Анна Глинская отчего-то ее, Анастасию, невзлюбила с первого взгляда.

— И одета как нищая... — безглаголиво поджимая губы, протянула княгиня.

Юлиания Федоровна и Данила враз громко, обиженно ахнули:

— Вы же сами сказали, сударыня Анна Михайловна, чтоб девка шла немедля, в чем есть, красоты не наводя. Время уж позднее, ко сну готовились..

— Ну, виноваты, не предупредили хозяев! — резко повернулась к ним Анна Глинская. — Обеспокоили

¹ Головной монашеский убор наподобие капюшона.

вас чрезмерно? Не ко двору слуги царские? Так мы ведь можем и убраться восвояси! Как скажете!

— Да погоди, милая княгиня, — примирительно прогудел Курлятев-Оболенский. — Чего разошлась, словно буря-непогода? Прямо в вилы девку встречаешь! Дай ей хоть дух перевести. А ты, доченька, перестань дичиться, ручку-то опусти, позволь нам поглядеть на красоту несказанную.

В голосе его не было и тени насмешки, только отеческая ласка, и Анастасия осмелилась выглянуть из-за пышных кисейных оборок. Взгляды собравшихся так и прилипли к ее лицу.

Анастасии часто говорили, будто она красавица, однако сейчас чудилось, что и тонкие, легкие, русые волосы, и ровные полукружья бровей, и малиновые свежие губы, и ярко-синие большие глаза, заблестевшие от внезапно подступивших слез, и длинные золотистые ресницы ее — товар второсортный, бросовый, который и хаять вроде бы неловко, и слова доброго жаль.

Анастасия метала по сторонам настороженные взгляды, пугаясь воцарившейся вдруг тишины. На лице у Дмитрия Ивановича улыбка явного восхищения. Юрий Глинский смотрит вполне милостиво. Анна Михайловна поджала губы, глаза сделались вовсе мрачными. Даже чернокудрый красавец не шныряет более глазами по углам, а уставился на Анастасию. Но отчего-то почудилось, что внимательнее всех рассматривает ее неприметный черный монашек. Уловив мгновенный проблеск его очей, Анастасия заробела до дрожи в коленках.

Курлятев-Оболенский с трудом отвел глаза от Анастасии:

— Хороша девка! За себя бы взял с удовольствием,

не годись она мне в дочери, да и грех это, при живой-то жене!

Глинский одобрительно кивал. Анна Михайловна и бровью не повела, и словца не обронила. Чернокудрый улыбнулся, но взгляд его воровато шмыгнул за спину Анастасии, где затаилась Магдалена. Монашек еще раз ожег Анастасию глазами и, не прощаясь, двинулся к выходу.

Анастасия пала под образа:

— Матушка Пресвятая Богородица! Да что же это... что это было? Что будет?!

Гости Захарьиных рассаживались по возкам. Алексею Адашеву и монаху подвели коней. Черноризец, подобрав полы, взлетел в седло с лихостью, отнюдь не свойственной его чину, однако Адашев медлил, косился на приоткрытые захарьинские ворота, на высокое крыльцо, где еще топтались почтительные хозяева. В стороне зябла, обхватив себя за плечи, тоненькая девичья фигурка...

— Дальше к кому? — спросил Юрий Васильевич Глинский, подсаживая матушку в возок.

Ответила, впрочем, не она — ответил монах:

— Возвращаемся. Хватит с меня!

Курлятев-Оболенский воззрился изумленно. Анна Михайловна высунулась из возка:

— Как так? Иванушка, дитя мое, что ты говоришь?

— Что слышали, — невозмутимо отозвался «монах», стряхивая с лица капюшон и нахлобучивая шапку, поданную стремянным. — Видали мы многих, но увидели ль лучшую, чем Захарьина дочь?

Дмитрий Иванович одобрительно крикнул, прихлопнул ладонями:

— Правда твоя, государь! Правда истинная!

Анна Михайловна фыркнула, но, хоть и не сказала ничего, ее внук отлично умел понимать невысказанное. Свесился с седла, сверкнул глазами:

— Шестнадцатого января венчаюсь на царство, третьего февраля — венчаюсь с Анастасией! Все меня слышали? А коли так — к чему воздуха сотрясать словесами?

Огрел коня по крупу:

— Пошел, ретивый!

Конь с места взял рысью. Следом загромыхал возок.

Адашев отстал.

* * *

Монастырь спал — ночь давно перевалила за середину. В деревне тоже было тихо, ни одна собака не взбрехнет. Чудилось, во всем этом темном, заснеженном, звездном мире не спал только один человек в длинной монашеской одежде, который стоял на дороге под монастырской стеной.

Внезапно до его слуха долетел отчаянный собачий лай, потом стук копыт по наезженной дороге. Он вперился взглядом в темноту и нетерпеливо стиснул руки, однако тут же опустил их, приняв вид спокойный и даже равнодушный, и когда всадник вылетел из-за поворота дороги, конь его испуганно заржал и взвился на дыбы, едва не налетев на высокую неподвижную фигуру, одиноко черневшую посреди белоснежного поля. Всадник с трудом заворотил морду храпящего коня, пал в снег и простерся ниц перед монахом.

Тот усмехнулся:

— Встань! Что ты передо мной, словно католик или униат поганый, простираешься? Еще и руку к губам прими!

Всадник привскочил на одно колено и, правильно поняв намек, припал к худым пальцам монаха.

— Отче... — выдохнул запаленно, так же часто вздымая спину, как его конь вздымал крутые бока. — Здоров ли?

— Здоров, не тревожься, — благосклонно кивнул монах. — Ты ли, Игнатий? Не разгляжу.

Всадник поднял молодое, курносое, измученное лицо:

— Он самый, отче. Вешняков.

— Рад тебя видеть. Но что митрополит? Что любимый сын мой Алексей? Что княгиня Ефросинья? Что... государь?

— Меня прислали сказать, что дело слажено. Государь свой выбор сделал. Венчается с дочерью покойного Захарьина-Кошкина Романа Юрьевича. Жена его из Тучковых, сами Захарьины ведутся от Андрея Кобылы.

— Да ты подымись, сыне, — позволил монах, и московский гость охотно повиновался. — Значит, говоришь, Захарьина девка... Ну что ж, Захарьины зубасты. Один Григорий Юрьевич, брат покойного Романа, чего стоит. Он с Глинскими за свое добро не на жизнь, а на смерть схлестнется. Особенно в союзе с Шуйскими. Что нам и потребно... Передай Алексею — надобно уговорить царя гнев на милость сменить. Шуйские — соль державы, из тех родов, что основа ее. А коли одеяло на себя шибко тянут, так свой край держать покрепче надо, не выпускать, — вот и вся премудрость. Князь Федор Скопин-Шуйский, Петр Шуйский, Юрий Темкин, Басмановы отец с сыном — довольно им посылкам сидеть. Скажи Алексею — пускай-де помилует Иван ради свадьбы старых смутьянов, усмирит сердце.

— Скажу, — кивнул Вешняков. — Только смекаю я — мало этого, чтобы Глинских одолеть. А одолеть надо, если мы хотим...

— Пока Глинские у трона, нам до сердца и души государевой не добраться, — кивнул чернец. — Но ничего, свернем им шею! Попомню я им, как меня гнули да ломали за то лишь, что я несправедно заключенному князю Владимиру Андреевичу Старицкому воли искал. А ведь кабы не я, и его, отрока молодого, вместе с матерью загубили бы Юрий да Анна Глинские, как правительница Елена загубила Андрея Ивановича, своего деверя и законного престолонаследника! Умна, умна была... блудница вавилонская, дочь дьяволова! Истинная родня Иродиады с Иезавелью. Иван — ее сердца исчадие, отсюда и неистовость его. Князь-то Василий не таков был, послабже, пожиже сутью...

Он умолк, покосился на жадно внимавшего Вешнякова.

— Вот что, сыне. Ты сейчас гони в деревню, заночуй там. В монастырь я тебя пустить не могу — нельзя, чтоб знали о московских ко мне посланцах! А в деревне ты постучись в третий от конца дом, хозяина там Игнатием кличут, как и тебя. Скажи, мол, Сильвестр свое благословение шлет — он тебя и приютит. Отдохнешь — поезжай в Новгород, а оттуда — в Москву, не мешкая. Скажешь Алексею, пускай князя Курбского к рукам приберет — это сокол дальнего полета, он нам вскорости очень пригодится.

Сильвестр осенил посланника крестом, однако не стал противиться, когда тот поймал его руку и снова облобызал жарко.

Монах ушел в обход монастырских стен, за башню, где таилась неприметная, лишь ему известная калиточка, позволявшая беспрепятственно, в любое время дня

и ночи, покидать обитель. Вешняков кое-как взгромоздился на замороженного коня и медленно потрусил в деревню.

* * *

— Днесите таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняетесь Всевышнему и живете в добродетели; а добродетель ваша есть правда и милость. Государь! Люби и чти супругу, а ты, христоролюбивая царица, повинуйся ему. Как святой крест — глава церкви, так муж — глава жены. Исполняя усердно все заповеди божественные, узрите благо и мир!..

После венчания Анастасию вывели в трапезную и сняли с ее головы девичий убор: покрывало и венок. Она испуганно моргала — фата мешала смотреть вокруг, вдобавок в храме Богоматери было нестерпимо жарко от множества свечей. И воздуху не хватало, а тут было хорошо, прохладно. Вдруг захотелось испуганно заплакать, но матери не было рядом — вообще не было ни одного знакомого, приветливого лица: родственницы царя, убиравшие невесту, Анна Глинская и Ефросинья Старицкая, обе с поджатыми губами, смотрели недобро. А дружка Курбский так и прожигал ненавидящим взором.

Да что она дурного сделала Андрею Михайловичу? Ведь только после окончательного сговора Захарьиных с Глинскими брат Данила проговорился, что князь к Анастасии еще год назад хотел заслать сватов, а Юлиания Федоровна поговорила с его матерью и заранее отказала. Видно, слова преподобного Геннадия крепко засели в ее голове. Но не Анастасия выбрала себе мужа — слуханное ли дело, чтоб девица сама мужа выбирала?! — а судьба. За что же князь Андрей Михайлович ее так ненавидит сейчас?!

А впрочем, что за дело Анастасии до его любви и ненависти? Не о том сейчас надо думать... думать надо о том, что в покое летнем дворцовом, устланном коврами, затянутом камкою, на тридевяти снопах ждет ее брачное ложе. Исстари стелили на Руси молодым в сеннике, даже зимой, как бы ни было холодно в нетопленном помещении, потому что на его дощатом или бревенчатом потолке не была насыпана земля, как при устройстве теплого покоя. Не допускал обычай, чтоб над головами новобрачных была земля, нельзя во время радостей свадебных вспоминать о смерти, о могиле.

Но отчего-то Анастасия казалась себе беспомощной покойницей, пока с нее снимали уборы и наряды и ближние боярыни с песнями уносили душегрею, летник, ожерелье, запястья, чулки и башмаки из брачного покоя, показывая гостям, что молодая разоблачена перед новой жизнью и ждет супруга. Испуганная Анастасия ловила взор матери, однако лицо Юлиании Федоровны было суровым и до того усталым, словно она только и ждала, как бы поскорее покончить неприятное, утомительное дело, а самой отправиться домой. Свадебный пир затянулся чуть ли не за полночь, и он будет продолжаться еще долго, в то время как они с царем...

В это время ввели государя, и Анастасии почудилось, будто не семь перин под нею, а соломенная худая подстилка, будто не соболями и шелками покрыта она, а тоненькой ряднинкою.

Какой он высокий! Как неприступно поджаты его губы! И когда сваха Ефросинья Старицкая с силой швыряет в него обрядным зерном, словно норовит попасть в лицо побольнее, он так хмурит свои и без того суровые брови... Да увидит ли Анастасия сегодня рядом с собою хоть одно доброе, сочувственное лицо?!

Она вдруг уловила осуждающее покашливание матери и спохватилась, что неприлично этак в упор разглядывать будущего мужа. Забегала глазами по сторонам. В углах покоя воткнуто по стреле, а на стрелы накинута соболями шкуры и нанизано по калачу. Над дверьми и окнами прибито по кресту. Образа Спаса и Богородицы задернуты убрусами.

Анастасия вспомнила, что образа завешивают, если в покоях творится святотатство или нечто непристойное, и со страху так вонзила ногти в ладони, что едва не вскрикнула.

Наконец она ощутила тишину, воцарившуюся во круг, и обнаружила, что все дружки и гости вышли. Государь стоял напротив, в одной рубахе, пугающе высокий и худой, задумчиво пощипывая едва-едва закурчавившийся ус. Анастасия невольно подтянула к подбородку одеяло, но он нахмурился — и руки ее упали.

Сел рядом на постель, провел рукой по лицу девушки, по дрожащим губам. Анастасия поспешно чмокнула его худые, униженные перстнями пальцы — и тотчас застыдилась. Он слабо улыбнулся:

— Совсем позабыл спросить — люб ли я тебе?

Анастасия ощутила, как слезы подкатывают к глазам. Она боялась, до судорог боялась именно его первых слов.

С трудом разомкнула пересохшие губы:

— Люб, государь... господин мой. Люб!

И сразу подумала: надо было назвать его по имени, хотя бы по имени-отчеству, — но пока язык не поворачивался.

— Боишься меня?

— Боюсь.

— А сладко ли тебе меня бояться?

Она заморгала, думая, что ослышалась, но на всякий случай выдохнула:

— Да...

Его глаза блеснули.

— Сейчас еще слаще будет!

Он рывком перевернул Анастасию на живот и задрал рубаху до самой головы. От неожиданности девушка даже не противилась, но вдруг спину ее ожгло болью. Взвизгнула — и умолкла, словно подавившись. Да он бьет ее! Бьет плетью, которую только что, глумливо ухмыляясь, вручил ему Адашев! За что же так-то?!

— Кричи еще! — хрипло приказал муж. — А ну, громче кричи! Кому говорю?!

Анастасия повозила головой по подушке: нет, мол, не стану, хоть ты меня до смерти забей!

Муж опять перевернул ее, теперь уж на спину, грубо растолкал ноги. Анастасия зажмурилась, закусила ладонь — и как раз вовремя, не то уж точно завопила бы от боли, которая пронзила нутро. Царица небесная, да есть ли на свете что-то хуже?!

— Кричи! — хрипло потребовал муж, с силой защемляя пальцами нежную, тонкую кожу на груди.

Анастасия выгнулась дугой, но смолчала, только широко открыла слепые от боли и страха глаза.

Тяжелое мужское тело металось на ней и дергалось, словно царя била падучая. Его горячая щека была притиснута к похолодевшей от слез щеке Анастасии.

Судороги вдруг прекратились, муж глубоко, со всхлипом вздохнул — и затих.

Анастасия перестала дышать, пытаясь уловить дыхание лежащего на ней человека, но кровь так стучала в висках, что она ничего не слышала.

И вдруг морозом обдало тело — из-за двери донесся звучный мужской голос:

— Здоровы ли молодые? Свершилось ли доброе?
Дружка Курбский! По обычаю спрашивает — или издевается?

Царь взвился, будто кнутом ужаленный. Подхватил с полу башмак, сильно швырнул в дверь:

— Пошел вон! Все вон!

Одернул задравшуюся рубаху, упал рядом с распластанной женой.

От двери отдалились осторожные шаги — и стало тихо.

Дружка вышел в соседний покой. Пьяненький князь Юрий Васильевич Глинский помирал со смеху, зажимая рот рукой, чтоб не слышно было пирующим гостям, а пуще — разгоряченному молодому:

— Каково он тебя? Под руку попал! Теперь знаешь, что такое — ему под руку попасть?

Курбский угрюмо молчал, словно вопрос относился не к нему.

— Чего регочешь? — сердито спросил стоящий у дверей Адашев, убирая руки за спину, чтобы Глинский не приметил: они так и сжимаются в кулаки. — Я ж говорил, еще не время, а ты, князь, свое: иди да иди!

— И впрямь, не время! — поддакнул Григорий Юрьевич Захарьин, дядя царицы, который за те минуты, что молодых оставили одних, чудилось, спал с лица.

— Не бойся, государь на это дело спорый! — хихикнул Глинский. — Сосуд распечатать — ему раз плюнуть. Эх, знали бы вы, сколько девок он уже перепортил, даром что из отрочьих лет только вышел! Но вот чего он не любил — это когда печать уже до него была сорвана...